

НАТАЛЬЯ ЧЕРМЕНСКАЯ

Почему МОЯ ДОЧЬ НИКОГДА НЕ НАПИШЕТ КНИГУ

*Как
я стала
удобной*

ИСТОРИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
И ПУТИ К СОБСТВЕННОМУ
ГОЛОСУ



Наталья Черменская

Почему моя дочь никогда не напишет книгу «Как я стала удобной»

<https://litres.ru/74018154>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Не капризничай, какая капризуля, такую тебя никто любить не будет!» — эти слова, как ведро ледяной воды на голову, вдруг отрезвляют. В доли секунды начинаешь прокручивать в голове всю свою жизнь, и, как кадры из фильма, с этими словами проплывают: первые слезы, что ты сдержала и не сказала, когда тебе на праздник подарили не ту куклу, о которой ты мечтала, а ту, что была подешевле. Что, когда все шли играть, тебе говорили: помоги матери, не будь эгоисткой, еще поиграешь. И ты молча шла и делала. Даже когда тебе дали донашивать старую одежду брата, ты не стала ничего говорить — что ты девочка, что тебе не нравится, что тебе неудобно. Ты просто молчала и терпела.

Когда ты передала себя? В какой момент ты стала вместо личности со своим мнением мебелью, удобным вариантом?

Она тоже стала — героиня книги. Как и тысячи и сотни тысяч женщин на планете. Но она смогла понять, что произошло, где

случился переломный момент, и изменила себя и свою жизнь.
Открыла глаза и сделала шаг к свободе

Содержание

Введение	5
Глава 1. Я и три мои подруги	7
Глава 2. Школа: отличницы и те, кто получал все	19
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Почему моя дочь никогда не напишет книгу «Как я стала удобной»

Введение

Она баюкает куклу и шепчет: «Не капризничай. Будь хорошей»

Ты слышишь это от чужой девочки на лавочке. И внутри все обрывается. Потому что это не она. Это ты. Твои слова. Твоя жизнь.

В детстве ты была тихой. Тебя хвалили за то, что ты не мешаешь. Твой брат орал и получал все. Ты молчала и donaшивала его старые вещи. Потом выросла. На работе тебя называли «опорой» и нагружали чужими задачами. В отношениях ты говорила «да», когда хотелось кричать «нет». Твои желания никто не спрашивал. А потом ты перестала слышать их сама.

И вот сейчас, глядя на эту девочку с куклой, ты понимаешь: ты не одна. Этот сценарий передается дальше. Через тебя. Через твою тишину. Через каждое твое «потерпи» и «потом».

Эта книга — о том щелчке, когда ты решаешь: хватит. Не

ради великой цели. А ради той маленькой свидетельницы. Которая сейчас записывает. Живет ли женщина свою жизнь или чужую. И кто даст ей разрешение хотеть, если не ты? Открой. Слезы сейчас — это чей-то первый шаг к свободе. Может быть, твой. Может быть, ее.

Глава 1. Я и три мои подруги

Меня зовут Лена. В детстве я была «золотым ребенком». Не потому, что талантливая. Потому что тихая. Пока мой старший брат Сережка орал, ломал игрушки, требовал новый велосипед — я сидела в углу и рисовала.

У меня была коробка из-под обуви. В ней лежали восковые мелки, обгрызенные с тупого конца, и стопка бумаги — обратная сторона маминых рабочих бумаг, которые она приносила со службы. С одной стороны таблицы и печати, с другой — пусто. Это «пусто» было мое. Единственное место в квартире, которое целиком принадлежало мне. Не угол, не полка, не кровать — а изнанка чужих документов.

Я рисовала тихо. Это важно. Не просто рисовала — рисовала бесшумно. Я научилась доставать мелки так, чтобы они не стучали о картон. Я научилась не просить воды, когда хотелось пить, потому что налить себе воды означало пройти через кухню, а на кухне мама, а у мамы лицо, и по этому лицу я уже в пять лет читала, можно сейчас существовать громко или нельзя.

Чаще было нельзя.

Мама приходила с работы в седьмом часу. Я слышала, как она вставляет ключ в замок — три попытки, потому что замок заедал, и она ругалась на него шепотом, чтобы соседи не слышали. Потом дверь, потом вздох. Этот вздох я помню

лучше, чем ее лицо. Длинный, на всю прихожую, вздох женщины, которая отстояла смену, отстояла очередь за тем, что выкинули в магазине, отстояла набитый автобус, и которой еще предстоит отстоять вечер с двумя детьми.

Сережка вылетал в коридор первым. «Мам, мам, а у Сашки „Денди“, к телику подключается, мам, а мне когда, ты же обещала, ты обещала!» Он висел на ней, тянул за рукав, требовал, и я видела, как она устает от него еще в прихожей, еще в плаще. Но он не отставал. Он давил. Он канючил так долго, что в какой-то момент проще было сказать «посмотрим», чем слушать дальше.

А я ждала своей очереди. Я стояла в дверях комнаты с рисунком в руках — нарисовала маму, дом, солнце, нас всех, держащихся за руки. Я ждала, когда она освободится от брата, чтобы показать его. И когда он наконец убегал в комнату, мама проходила мимо меня на кухню и говорила, не глядя:

— Леночка, ты такая умница. Сиди, не мешай. Дай я хоть переоденусь.

И я садилась. И не мешала. Рисунок оставался в руках. Я его потом убирала в коробку — к остальным, которые тоже никто не посмотрел. У меня была целая коробка непоказанных рисунков. Иногда я думаю, что вся моя жизнь — это коробка непоказанных рисунков. Я сделала, я постаралась, я ждала. Никто не посмотрел. Я убрала.

Так я и научилась главному закону нашего дома, еще до школы. Закон был простой: кто громче — того и слышно.

Сережка был громкий. Сережку было слышно всегда. Его «хочу» гремело на всю квартиру, и под это «хочу» прогибалось все — и мамин кошелек, и мамина усталость, и моя очередь. А я была тихая. И мне казалось, что тишина — это моя добродетель, мой способ быть хорошей, моя заслуга. Я гордилась тем, что не такая, как Сережка. Что не клянчу. Что меня не слышно. Я не понимала тогда, что меня не слышно не потому, что я благородная. А потому, что я молчу. И что между «меня не слышно» и «меня нет» расстояние гораздо меньше, чем кажется.

Раз в год это расстояние сокращалось до нуля. На день рождения.

Мне исполнялось семь. И за месяц до этого, провожая взглядом куклу в витрине универмага, я увидела рядом, на манекене, платье. Розовое. Не просто розовое — цвета зефира, где розовый и белый смешаны. С атласным бантом на спине, такого размера, что бант был почти как сама девочка. Я остановилась перед ним и стояла, наверное, целую минуту, и внутри что-то болело сладко и тонко. Я не сказала ничего вслух тогда, в магазине. Но я решила: вот его. На день рождения попрошу его. Это можно. День рождения — это же специальный день, когда хотеть не стыдно, когда тебя должны спросить, чего ты хочешь.

И я готовилась. Целый месяц я набиралась смелости. Я репетировала про себя, как скажу. Я подгадывала момент. И за неделю до праздника, когда мама была в хорошем настро-

ении — она редко бывала в хорошем настроении, но в тот вечер напевала что-то, моя посуду, — я подошла и сказала. Тихо, но сказала:

— Мам. А можно мне на день рождения платье? Розовое, с бантом. Я в универмаге видела. Мне очень-очень хочется.

Я попросила. Я, которая никогда ничего не просила, — попросила вслух. Для меня это было как с обрыва шагнуть. Сердце колотилось в горле. И мама, не оборачиваясь от раковины, сказала:

— Посмотрим.

«Посмотрим». То самое слово, которым она отделялась от брата. И я, дурочка, услышала в нем «да». Я приняла «посмотрим» за обещание. Целую неделю я жила этим. Засыпала и представляла, как разворачиваю сверток, и там оно, зефирное, с бантом, и я надеваю, и кручусь перед зеркалом, и я красивая, и меня видно.

Настал день рождения. Мама вынесла пакет. Я разворачивала его трясущимися руками. И достала — серую школьную форму. С чужого плеча: у соседки старшая дочь выросла, форму отдали нам почти даром. Она пахла не новым, она пахла чужим — каким-то порошком, которым у нас дома не стирали. На рукаве было еле заметное пятно, которое не отстиралось.

Я смотрела на эту форму и не понимала. Я держала ее в руках и все ждала, что под ней, в пакете, есть еще что-то. Платье. Что форма — это так, в нагрузку, а главный подарок

ниже. Я заглянула в пакет. Пакет был пустой.

— Сережке велик нужен, старый совсем развалился, — сказала мама, и в голосе у нее было это, заранее оправдывающееся. — А тебе осенью в школу все равно форму покупать. Чего два раза тратиться. А платье твое — ну сама подумай, куда его носить? Один раз надела и в шкаф. Деньги на ветер. А форма — это дело, это надолго. Ты у меня умница, не то что некоторые. Ты не капризная. Ты понимаешь.

«Посмотрим» означало «нет». Просто мама не хотела говорить «нет» в лоб — проще было сказать «посмотрим» и дать мне самой догадаться. Но я не догадалась. Я надеялась. И вот за эту надежду меня и наказали — не специально, нет, мама не была злой, она была уставшей и считала каждую копейку. Но получилось, что я попросила — единственный раз за весь год по-настоящему попросила, — и в ответ получила чужую серую форму и слово «не капризная», прижатое сверху, как печать.

И я сделала вывод. Не умом — умом я ничего не выводила, мне было семь. Я сделала вывод телом, нутром, на всю оставшуюся жизнь: хотеть — опасно. Попросишь —строишь маму. Понадеешься — будет больно. А вот если молчать и радоваться тому, что дали, — тогда ты умница. Тогда тебя хвалят. Тогда ты хорошая.

Я надела форму. Покрутилась перед мамой, чтобы ее порадовать. Сказала «спасибо, мам, очень удобно». Юбка была велика в талии, мама заколола ее булавкой сзади, и весь день

булавка колола мне спину, а я не сказала. Потому что я была не капризная. Я только что, в свой седьмой день рождения, окончательно выучила, чем кончаются капризы.

Я была невидимая. Но мне сказали, что это и есть хорошо. И я поверила. Поверила так глубоко, что несла эту веру еще тридцать с лишним лет. Что любить будут за форму, а не за платье. За «спасибо», а не за «хочу». За то, что один раз попросила — и больше никогда.

В тот вечер я достала коробку с рисунками и нарисовала это платье. Зефирное, с бантом. Себя в нем нарисовала. Нарисовала и убрала в коробку, к остальным непоказанным. Это был единственный способ его получить.

А вот моя подруга Светка из параллельного класса. Мы учились в одну смену, жили в одном дворе — дома стояли буквой «г», и наши кухонные окна смотрели друг на друга через площадку, где выбивали ковры. Светку все во дворе считали трудной. Матери на лавочке поджимали губы, когда она проходила. «Невоспитанная». «Мать с ней не справляется». «Вот вырастет — наплачется девка».

Я однажды видела сама, как Светка добывается своего. Мы случайно оказались в одном магазине — ее мама и моя мама встретились в очереди, разговорились, а мы болтались рядом. И Светка увидела куклу. Большую, в коробке с прозрачным окошком, с волосами, которые можно расчесывать. Точно такую, мимо какой я когда-то прошла молча.

— Мам, купи.

— Света, дорого. У нас на это денег нет.

— Купи.

— Я сказала — нет.

И вот тут я первый раз в жизни увидела, как человек просто... не принимает «нет». Светка не заплакала картинно, чтобы разжалобить. Она села. Прямо на пол магазина, в проходе между прилавками, села и сказала ровно, почти спокойно:

— Тогда я отсюда не уйду.

И сидела. Люди обходили. Ее мама сначала шипела сквозь зубы, потом дергала за руку, потом краснела от стыда — на нее же смотрели, моя мама стояла рядом, продавщица смотрела поверх прилавка. А Светка сидела. И знаете что? Через десять минут кукла была куплена. Не потому что мать оказалась слабой или богатой. А потому что Светка была готова идти до конца, а мать — нет. Светка хотела куклу сильнее, чем мать хотела избежать сцены. Вот и весь секрет, который я разгадала только к сорока.

То же было и на утреннике. Нас всех нарядили в одинаковые марлевые костюмы снежинок, кололось, торчало, а Светке костюм не понравился, и она просто сказала: «Не буду читать стих в этом». Воспитательница и так и сяк — Светка ни в какую. Стих она так и не прочла, а подарок Дед Мороз ей все же подарил. Также, как и всем.

Тогда я думала: какая ужасная девочка. Как ее маме тя-

жело, бедная женщина. Я смотрела на Светку с тихим превосходством хорошей девочки над плохой. Я-то никогда так не сделаю. Я-то понимающая, я-то умница.

А теперь я думаю вот что. Светка с шести лет знала две вещи, которых я не знала до тридцати пяти. Первое — чего она хочет. Не «что положено», не «что не дорого», не «что дали» — а чего хочет именно она. И второе — что за свое хотение надо платить. Неудобством. Чужим осуждением. Маминым красным лицом. Взглядами теток в очереди. И она была готова платить.

А я хотела получить, не заплатив. Я хотела, чтобы платье мне дали просто за то, что я тихая и хорошая. Мне казалось, это благородно — не требовать, не закатывать сцен, не садиться на пол. А это было не благородство. Это был страх, наряженный в благородство. Я так боялась стать «как Светка» — плохой, неудобной, той, на которую косятся, — что согласилась стать никем.

У Светки появилась кукла. У меня появился рисунок куклы. У Светки было платье, которое она выбрала. У меня — рисунок платья в обувной коробке.

Вот и вся разница между нами, в одной строчке. Ее желания исполнялись. Мои — нет.

И еще Катка с нашего этажа. Третья дверь от лифта. Катя была удобной, как я, но по-другому. Я была удобной для тишины — меня было не слышно. Катя была удобной для

пользы — ее можно было использовать.

У Кати была младшая сестра, Олечка, на семь лет младше. И с того дня, как Олечка родилась, у Кати закончилось детство. Это не фигура речи. Я помню Катю до сестры — она прыгала в резиночку лучше всех во дворе, знала все классики, хохотала так заразительно, что мы все начинали хохотать просто от ее хохота. А потом появилась Олечка — и Катя превратилась в маленькую маму.

«Маме надо работать». Это произносилось как закон природы, против которого даже думать стыдно. Маме надо работать — значит, Катя сидит с сестрой. Зовем ее гулять — «не могу, я с Олей». Зовем всем двором в кино, дешево, на утренний сеанс — «не могу, Олю не с кем оставить». Лето, все на речку — Катя на балконе с коляской.

И ее хвалили. Боже, как ее хвалили. «Катя — мамина помощница». «Катя — золото, не то что некоторые». «Вот вырастет — мать на руках носить будет». Соседки ставили ее в пример своим дочерям. И в этой похвале было что-то липкое. Ее хвалили ровно за то, что она отдавала свою жизнь. Чем больше отдавала — тем больше хвалили. Похвала была платой за исчезновение. Точь-в-точь как у меня — только мне платили за тишину, а ей за труд.

Однажды — нам было лет по четырнадцать — мы сидели у Кати на кухне. Олечка спала в комнате. И Катя вдруг сказала, тихо, глядя в стол:

— Я ее ненавижу.

Я опешила.

— Кого?

— Олю. Сестру. — Она говорила ровно, без слез, и от этого было еще страшнее. — Из-за нее у меня нет жизни. Я не помню, когда последний раз делала что-то просто потому что захотела. Для себя. Я даже в туалет иду и слушаю — не проснулась ли. Я как привязанная. Мне четырнадцать, Лен. А я как будто старуха.

И заплакала. Молча, не всхлипывая, просто слезы потекли, а лицо неподвижное. Я не знала, что сказать, обняла ее неловко — мы обе не умели обниматься. А потом из комнаты послышалось «Кааатя!» — Оля проснулась. И Катя вытерла лицо ладонью, выдохнула, улыбнулась мне этой улыбкой — я ее теперь называю «удобная улыбка», улыбка поверх боли, — встала и пошла. Сначала к сестре, потом мыть посуду. И весь вечер была обычная Катя. Помощница. Золото.

Я тогда не поняла, что увидела. А потом видела это десятки раз — в зеркале. Эту секунду, когда человек проговаривает правду, настоящую, со дна, — а потом вытирает лицо и идет мыть посуду. Возвращается в роль. Потому что роль безопасна, а правда — нет.

Катя до сих пор живет с мамой. Олечка выросла, выучилась, вышла замуж, уехала в другой город — и правильно сделала, у нее своя жизнь. А Катя осталась. Теперь она ухаживает за мамой, мама болеет. Так и не вышла замуж, не уехала, ничего. Когда я ее последний раз видела, у нее было

лицо человека, который всю жизнь ждет, что вот-вот подойдет его очередь жить. А очередь все не подходит. Потому что всегда есть тот, кому нужнее.

Что я поняла много лет спустя.

Нас не хвалили за наши таланты и мечты. Меня — ни разу, ни единого раза, — не похвалили за рисунок. Катю — за ее хохот и за то, как она прыгала в резиночку. Нас хвалили за отсутствие проблем. За то, что с нами удобно. «Хорошая девочка» — это не та, что талантлива, добра или умна. «Хорошая девочка» — это девочка, которой не слышно. Которая не просит платье. Которая сидит с сестрой. Которая говорит «спасибо» за чужую форму и крутится, чтобы порадовать маму, хотя булавка колет спину.

Но самое страшное — мы этому верили. Мы не сопротивлялись, не считали это несправедливостью, которую надо перетерпеть до взрослости. Нет. Мы думали, что так и надо. Что если нас не видно и не слышно — значит, нас любят. Мы сами, своими руками, делали себя тише, меньше, удобнее — и гордились этим. Я гордилась, что не клянчу, как Сережка. Катя гордилась, что она помощница. Мы соревновались в исчезновении и принимали призовые места за исчезновение как за достижение.

А Светка тем временем садилась на пол в магазине и получала свою куклу. И свое платье. И — как выяснится позже, через тридцать лет, на улице у поликлиники — свою жизнь.

А мы выросли. И стали удивляться, почему никто не замечает, что нам плохо. Почему муж не догадывается, что я устала. Почему начальник не видит, что я тяну за троих. Почему никто не спросит, чего хочу я. Мы всю жизнь ждали, что нас заметят за нашу тишину, — и не понимали, что тишину как раз и не замечают. Тишину для того и любят, что ее не надо замечать. Мы сами научили всех вокруг, что нас можно не спрашивать. А потом всю жизнь обижались, что нас не спрашивают.

Глава 2. Школа: отличницы и те, кто получал все

Училась я хорошо. Даже отлично. Контрольные решала за других. Проекты делала в командах одна. Учителя говорили: «Лена — наша гордость». А дома мама говорила: «Лишь бы Сережка не напился где».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.